



Простые истории



Давид Маркиш. Конь Кадама.
Счастливого случайное начало

Д а в и д М а р к и ш

К О Н Ъ К А Д А М А

Никогда, ни в какие времена человек не был свободен под властью — советской, царской, ханской, тоталитарной или демократической. Да, демократической — потому что смехотворной «народной власти» нет в природе: это невозможно, это обман. Всякий народ существует для того, чтобы им управляли, власть — чтобы управлять народом, как наездник лошадь. «Скрепы» между народом и властью это полнейшая, называя вещи своими именами, зависимость первого от второй. Страх стоит за спиной зависимости, и страх правит народами. Дитя боится родителей, работник — нанимателя, интеллигент — управдома и участкового, чиновник — начальника, больной — смерти. И никто, строго говоря, не боится Бога, расположенного за линией смерти. Ни лживый и вздорный властитель не опасается его всерьез, ни вороватый чиновник, ни крикливое дитя, ни беспокойный интеллигент, ни нерадивый работник, ни даже церковный поп в кружевном пальто и золотой шляпе.

Я был как все, я тоже боялся. Не последствий встречи с властью я боялся — они не сулили мне ничего хорошего, а самой встречи с кем-то, облеченным правом «вязать и разрешать»; этот неведомый «кто-то» был априори мерзок моей душе. Да я с такими и не встречался, лишь живо, в красках представлял себе подобную нечаянную возможность: ведь власть, я видел, повседневно и повсеместно тянет свои щупальца и клешни к каждой живой душе, в какую бы щель, под какой бы камень она ни забилась. Мой друг, памирский охотник-барсолов Кадам Кудайназаров, человек брильянтовый, жил вблизи величайшего в мире горного ледника Федченко, в местах неприступных, в крохотном кишлачке о пяти дворах, в саманной кибитке, куда «лампочку Ильича» счастливо не дотащили. Разводя костерок посреди кибитки, на глинобитном полу, Кадам пользовался не дефицитными серниками, а безотказными «басурманскими спичками» — привешенным к поясному ремню огнивом и клочком сухой пакли. Ни проезжая дорога, ни протоптанная тропа не вела

в эти потрясающе красивые и прекрасные края на берегу реки Мук-су. Нетрудно догадаться, что государственных людей — партработника, мильтона или торговца из автолавки — здесь не видали отродясь: ближайший поселок с красным флагом над райсоветом находился в восьмидесяти километрах, в дне пути верхом по горам. Кадам, никогда в жизни не выбиравшийся из своей кибитки дальше районного центра, куда его вороной иноходец добегал часов за шесть-семь, о власти имел размытое представление. Но и к нему в дурной час Софья Власьева потянулась своими красными кухаркиными лапами.

Все дело было в иноходце, по-местному «джорго». То был высокий в холке, с мощной грудью жеребец, с крутой и мускулистой шеей ахал-текинца. Коня привели откуда-то снизу, с зеленых цветочных предгорий, он был на порядок крупней и видней коротконогих памирских лошадок, не знавших ничего кроме труда и смерти. Ход джорго был плавлен и легок, всадник вольно сидел в глубоком горном седле, и иноходь избавляла его от необходимости на каждом шагу тщательно облегчаться в стремянах, чтоб с отвычки не отшибить себе кишки на исходе третьего часа. Кадам, когда я появлялся у него, без лишних слов передавал мне поводья своего жеребца и придерживал стремя, и это было высочайшим проявлением дружбы и доверия, за что я буду благодарен ему по гроб жизни.

Вот этот-то вороной жеребец, джорго, и послужил причиной встречи барсолова Кадама Кудайназарова с властью.

Председатель райсовета — начальник местной жизни, всемогущий обладатель тулупа, сшитого из барсовых шкур и крытого рубчатым красным вельветом — «положил глаз» на Кадамова коня. Кадам как раз ехал по улице поселка в магазин за мукой, солью и конфетами-подушечками для детей — Маматзаира и Сюимбая. Ни у кого не должен вызывать удивления тот факт, что, увидев джорго, Тулуп решил забрать его себе. Человеческая природа повсюду одинакова, и Памир не исключение из общего правила. А что исключение? Москва? Тель-Авив? География тут роли не играет, все дело в индивидууме, встречающемся редко, как инвалид в хоккейной команде.

Итак, конь. Проще всего было купить джорго у охотника. Не согласится Кадам продать по доброй воле — уговорить с нажимом. Не пойдет на уговоры — заставить. Есть вопросы? Нет вопросов.

Но Кадам с первого же слова отказался говорить о продаже жеребца, повернулся и уехал. Точка.

Тулуп точку в этом деле не разглядел. Другое он разглядел: какой-то барсоловишко выставил его, начальника, дураком перед всем честным народом, слабаком, который и коня-то не может отобрать у какого-то нищего охотника с Федченко. Тулуп знал, что отступить ему некуда, и победа хоть мытьем, хоть катаньем должна остаться за ним. А иначе какая же он власть?

Он послал к Кадаму оперуполномоченного с письмом. Опер, деликатно держа райсоветовский конверт за уголок, помогая себе жестами, рассказал охотнику, что его ждет: либо он по-хорошему уступит джорго Тулупу, либо власть по закону охолостит вороного, и будет Кадам развезжать уже не на жеребце, а на мерине. Что за закон? Наш родной советский закон: частному лицу запрещено держать ядреного жеребца, чтоб от его платных покрытий пришедших в охоту кобыл не происходил подпольный заработок, приравниваемый к незаконному предпринимательству. А кто будет так делать, получит три года. Все ясно? И нехитрыми движениями растопыренных пальцев опер наглядно объяснил положение вещей.

Ответ Кадама на оперное предложение власти был хорош: «Кастрировать жеребца не дам, придете — пристрелю». И хотя речь шла о судьбе коня, но и опер, а потом и Тулуп с беспокойством примерили угрозу на себя: отцом барсолову приходился известный в тех краях басмач Кудайназар, убитый в перестрелке с красными, и это родство говорило само за себя — пуля сына могла чуть-чуть отклониться от своей траектории и, вместо того чтобы попасть в висок жеребцу, угодила бы в лоб оперу, а то и самому Тулупу и проделала там дырочку. Тулуп не был трусом, но ловить башкой антисоветскую пулю не хотел, а отказываться от своих слов не собирался. Потому он решил подождать до конца месяца, и, если Кадам до тех пор не появится в райцентре, где взять его с конем было бы проще, чем на крутом берегу Мук-су, послать к нему ветеринарного фельдшера под охраной милицейского отряда из шести бойцов, с оружием, и тогда поглядим, кто кого перестреляет: сын басмача советскую власть или советская власть басмаческого сына.

Мне в те интересные дни выпало находиться на передовой событий. Срочно, за сутки, вернувшись в Москву, я рассказал эту попахивавшую кровью историю в редакции «солидного» журнала, где я тогда печатался: так, мол, и так, барсолов — герой недавно опубликованного очерка «Герой горы» с фотографиями, там и жеребец изображен во

всей своей огненной красе. Мой рассказ изобилдовал захватывающими деталями и вызвал недоверие и гогот коллег. Тут же было сочинено письмо в идеологический партийный комитет — дескать, кастрация геройского жеребца бросит тень на всю нашу всесоюзную пропаганду, и ради поддержания доверия к Центральной власти в труднодоступных горных районах Средней Азии необходимо немедленно прекратить преследование труженика Кадама Кудайназарова и административным приемом охладить пыл районного Тулупа. Главный редактор не без ухмылки подмахнул трогательное письмо, рассылный отвез его по адресу и сдал под расписку, и уже через десять дней Кадама, как ни в чем не бывало, оставили в покое. А Тулуп, по запарке схлопотавший «строгача» по партийной линии, искренне сожалел, что в тот злополучный день паялся на дороге, по которой ехал Кадам на своем джорго, а не глядел в угол комнаты, где было прислонено к стене переходящее красное знамя с кистями за успехи в районном труде.

СЧАСТЛИВОЕ СЛУЧАЙНОЕ НАЧАЛО

Хотим мы того или не хотим, случай направляет нашу жизнь. Некоторым больше нравится называть случай пересечением двух закономерностей. Что ж, на здоровье: существа дела это не меняет. Борьться со случаем все равно, что стрелять в луну из рогатки. Сеть случаев наброшена на нашу жизнь, сверкающая сеть случаев, предложенная нам Непостижимым для игры, смеха и смерти. И эта красивейшая накидка представляется нам мировым порядком, нарушение которого приведет к хаосу. Как будто вокруг нас со времен Адама и Евы не хаос, а сплошной бином Ньютона... Но кое-что заведено, и мы это воспринимаем как должное. Например:

Устоявшейся взрослой жизни предшествуют детство и отрочество. Это само собой разумеется: пластилин детства, потом глина отрочества. Мое детство выпало на войну, а отрочество — разбег перед проникновением в сознательную жизнь — я провел в мало подходящих для этого, экстремальных условиях ссылки в каракумской пустыне. Постепенный разбег, таким образом, превратился в стремительный прыжок, а стеклянную стену, отделявшую

прыщавое отрочество от мускулистой юности, я разбил с налету. Очугившись в юности, я сделался пьяницей.

Надо сказать, что мой первый опыт в этом направлении случился раньше, еще до Каракумов. Мне было одиннадцать лет. Я приехал на разъезд 12–47, в Коми, в гости к моему дяде, маминому брату — отсидев пятнадцать лет в лагерях, он был отправлен в вечную ссылку на этот самый разъезд. Поселочек из сотни изб, почти сплошь населенный ссыльными, примыкал к угольной шахте; террикон вздымался над болотистой тайгой, как черная пирамида. Чуть в стороне, но близко к разъезду, располагался и лагерь — тамошних зеков гоняли под землю, давать стране угля. Да и все население поселка, так или иначе, было связано с шахтой и тем кормилось. Лагерем командовал майор Ефим Лазаревич Богданский, не злой, по слухам, человек. Я бы ничуть не удивился, встретить я нынче его сына Стасика в Тель-Авиве или Иерусалиме.

У моего дяди были друзья в поселке, немного, но были. Один из них, бандеровец Витя, пленил мое непорочное воображение своим замечательным мастерством: крыс, бегавших по ночам по полу его избенки, он кончал метким швырком топора, а мышей — точным броском ножа. Тут было чем восхититься от всей души.

Мой приезд на разъезд 12–47 совпал с днем рождения бандеровца Вити. Меня позвали. В комнату набилось человек двадцать, все ссыльные. Витя выставил сорокалитровую флягу бражки — сладкой, хмельной. Гости чувствовали себя раскованно. Я выпил первый стакан, и мне понравилось. За первым пошел второй, а потом и третий. После третьего я ощутил высокий подъем, утратил какую-либо связь с действительностью и, неизвестно почему, решил идти домой; меня не удерживали.

Дорога домой, к дяде, шла через болото, на поверхность которого, для облегчения задачи пешехода, были небрежно брошены деревянные доски — мостки. Не одолев и половины пути, я, пошатнувшись, рухнул в болото, и, если б не прохожий добрый человек, случайно здесь оказавшийся и без колебаний вытащивший меня крепкою рукою, я бы затонул в трясине. Сам я ничего этого не помню, но нашлись свидетели, наблюдавшие за развитием событий в Витиной избе и на болоте.

Ну, выпил и выпил; в России тот не пьет, кому не наливают... Дальше — больше: взросление способствовало развитию экономи-

ческой независимости, и мое пьянство процветало — в компании с молодыми и старыми поэтами и прозаиками, с великолепной богемой московского кафе «Националь», со шпаной и уличными хулиганами, со свободолюбивыми, но запойными жителями среднеазиатских гор и северных тундр. Пьянство означало для меня увлекательное изничтожение вялотекущего времени, которым, по молодости лет, я вовсе не дорожил и отнюдь его не ценил: предстоящая жизнь казалась мне безграничной. Потом наступила переоценка, и новые захватывающие увлечения — сочинительство и чтение — вытеснили пьяное противоборство со временем. Могло сложиться иначе: на смену пьянству пришли бы не менее азартные занятия — бильярд или игра на скачках. Но покамест все шло, как шло; до моей Первой книги оставалось еще полтора десятка лет.

Это совсем не значит, что время, с которым я понемногу переставал драться и бороться, уходило в песок без следа: я писал более чем посредственные стишки, в которых еле слышался хрип жизни, много и быстро переводил поэзию по подстрочникам, писал очерки о приключениях жителей гор и пустынь и даже опубликовал отдельной книжкой документальную повесть об увлекательных сложностях жизни на высокогорных кручах Памира. Отрочество вспоминалось с симпатией, а детство, выдуманное в пику неприятным реалиям — свысока:

*Ах, детство!
Сласти — всласть,
За яблоками лазим...
С сука, а ну-ка, слазь —
Не то сорвешься наземь.*

Позже, чем хотелось бы, пришло время, и я подал документы на репатриацию в Израиль; мне отказали. Сев в отказ, сел за прозу; так совпало. Не зная азов ремесла, двигался вперед, как по тем болотным мосткам на разъезде 12–47. И, заново изобретая велосипед, радовался фальшивым открытиям. Написав страниц десять, прятал написанное по разным адресам, у проверенных друзей: «отказники» находились под особым надзором властей и, обнаружь они у меня эти довольно-таки антисоветские странички, лагерный срок был бы мне обеспечен... Примерно через год роман «Присказка» был закончен, собран воедино и тайным

образом, «с оказией» отправлен в Израиль — дожидаться там моего приезда. Я знал, что к тому времени кое-что из моих стихов, под псевдонимом «Давид Маген» (то, что «Маген-Давид» означает на иврите «Скорая помощь» — этого я как-раз не знал), были опубликованы в Израиле в переводах на иврит знаменитого поэта Авраама Шленского. Эти стихи, преимущественно еврейского национального окраса, выпорхнули из советской клетки при помощи замечательного человека — американского историка Ричарда Пайпса, будущего советника президентов США. Спасибо ему!

А моя «Присказка», предваренная эпиграфом — пословицей, услышанной мною в детстве от моей няни, хоперской казачки Лены Хохловой: «Кто нови не знает, тот и стари рад», — улетела за тридевять земель, в финиковые края. «Присказка» была вступлением в жизнь моего героя, ссыльного мальчика Симона Ашкенази; вслед за нею должна была наступить сама жизнь — сказка, полная нови. Я и эпиграф решил, было, поставить другой: «Это только присказка — сказка впереди», — но потом передумал.

В отказе время утрачивает присущие ему характеристики и превращается в спекшийся сгусток. Но, как показывает опыт, всему приходит конец и ничто не бесконечно, кроме, быть может, самой бесконечности. Пришел конец и моему отказу, и через два дня я уже вдыхал сладкий дым отечества.

Спустя несколько недель высокая волна, поднятая приездом вдовы и сына Переца Маркиша, немного опала, и я, в этой дивной нови, проявил объяснимый интерес к судьбе моего романа «Присказка». Выяснилось, что роман «доехал» в целостности и сохранности и был передан на прочтение — но не в одно из издательств, чего следовало бы ожидать, а какому-то техническому, не имевшему ни малейшего отношения к литературе дядьке, в силу рождения в Риге читавшему по-русски... Что ж, всем нам хорошо известно, чем вымощена дорога в ад.

Долго ли, коротко, «Присказка» тому дядьке не понравилась. Вопрос, таким образом, был как бы и решен... Завернув рукопись в газету, я поехал в свой Центр абсорбции, раздумывая над тем, что на литературной моей карьере, вроде бы, поставлена точка.

В этом Центре, помимо жилых комнат, размещались и классы для изучения иврита. Назавтра после неприятной встречи с техническим дядькой я сидел в классе и вместе с одноклассниками распевал израильские песни для лучшего запоминания слов. В дверь посту-

чали, наша учительница — молодая солдатка — выглянула, что-то ей сказали, и она, обернувшись к классу, поманила меня пальцем.

Я вышел в коридор. Там стоял голубоглазый человек лет семидесяти, с добрым, собранным в складки лицом. Из-за его плеча выглядывал заместитель директора нашего Центра — он, как видно, и велел солдатке меня позвать.

— Вы Давид Маркиш? — спросил старик по-русски и улыбнулся всем своим большим лицом. — Я сам родом из Киева, у нас там были леса. Моя семья уехала оттуда после революции, и теперь я живу в Бразилии. Меня зовут Адольфо.

Не гася улыбки, Адольфо продолжал меня рассматривать:

— Поздравляю с приездом! Я читал про вас в газетах. Вы, наверно, привезли с собой мемуары о вашей жизни в СССР и как вы сидели там в отказе?

— Ну, я еще не такой старый, чтоб писать мемуары, — отшутился я, прикидывая, кто таков Адольфо из Бразилии.

— У меня есть издательство, — сказал Адольфо, — и я хочу издать ваши мемуары.

— Нет у меня мемуаров, — сказал я не без сожаления. — Но у меня есть роман о мальчике в ссылке, о похоронном оркестре и двойнике Сталина. Рукопись.

— Где эта рукопись? — по-деловому спросил Адольфо.

— Здесь, — сказал я. — У меня в комнате.

— Дайте почитать! — сказал Адольфо. — Если вы не возражаете... Нетрудно догадаться, что я не возражал.

Наутро Адольфо позвонил мне по телефону.

— Я читал всю ночь, — сказал Адольфо. — Немедленно приезжайте ко мне в отель!

К тому времени знающие люди в нашем Центре абсорбции уже успели мне рассказать, что добродушный бразилец — Адольфо Блох, медиа-магнат и страшный богач из Рио-де-Жанейро, владелец газет, журналов и телевизионных каналов. Картинка, неожиданно возникшая передо мной в дверях моего учебного класса, выглядела вполне сказочно.

В номере-люкс отеля «Дан», куда я прилетел, словно бы мною выстрелили из рогатки, за массивным письменным столом сидел Адольфо Блох — магнат и бывший киевлянин. Перед ним высилась стопка страниц моей рукописи.

— Это замечательно! — сказал Адольфо, припечатывая рукопись ладонью и тем самым как бы вынося ей оправдательный приговор. — Я просто не мог оторваться... И эта охота на антилоп, и двойник Сталина!

Я молчал. Мне очень хотелось, чтобы Адольфо еще что-нибудь сказал про мою первую книгу.

— Мы ее переведем на португальский и напечатаем в моем издательстве, — продолжал Адольфо. — И пригласим вас в Рио-де-Жанейро на выход книги.

Если бы я не сидел против Адольфо Блоха за столом, я, пожалуй, покачнулся бы от такой новости. Моя книга выйдет! Я поеду в Рио-де-Жанейро, где, как известно, горожане расхаживают в белых штанах и танцуют фокстрот под названием, кажется, «кариока». На этом все мои познания о Бразилии заканчивались. Хотя нет, не все. Я читал книжку про бразильских дикарей, проживающих на притоке Амазонки — речке Укаяле, где рыбы поют. Это ароматное название, под пение рыб, так мне понравилось, что я его запомнил на всю жизнь.

«Присказка» вышла по-португальски, и я поехал в Рио-де-Жанейро. Как нынче сказали бы, «эт-то было крут-то!» Прочитав о зарубежном выходе моего романа и успеху, сопутствовавшему изданию в Бразилии и Португалии, наш израильский технический дядька шустро пересмотрел свое отношение к книге; «Присказка» была отправлена в перевод и вскоре вышла на иврите. Потом ее перевели еще на шесть языков, и она вышла в Европе, США и Азии.

Удача пришла благодаря счастливому случаю: не появившись тогда Адольфо Блох в дверях учебного класса, технический дядька и не подумал бы менять свое мнение, и рукопись моя, если б и не сгорела, то истлела бы и рассыпалась во прах.

Интересно, что название «Присказка» сохранилось только в русских изданиях, а в переводах на иностранные языки такое понятие вообще отсутствует, поэтому перевести его на эти языки никак невозможно. И мой первый роман был озаглавлен, по большей части, совсем по-другому: «Начало».

